

Стефан Цвейг

НОВЕЛЛЫ

АМОК

В марте 1912 года в Неаполе, при разгрузке в порту большого океанского парохода, произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром «Океании», но так же, как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия, так как оно случилось в ночное время, при погрузке угля, и мы, чтобы спастись от шума, съехали все на берег и там проводили время в разных кафе и театрах. Как бы то ни было, я лично думаю, что некоторые предположения, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той ужасной сцены, а отдаленность лет позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду.

Когда я хотел заказать в пароходной конторе в Калькутте место для возвращения в Европу на борту «Океании», клерк только с сожалением

пожал плечами. Он не знал, возможно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением сезона дождей, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дождаться телеграммы из Сингапура.

Но на следующий день он сообщил мне приятную новость, что может предложить мне одну каюту, правда, не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому не стал медлить и просил закрепить место за мной.

Клерк правильно уведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плоха — тесный четырехугольный закоулок недалеко от паровой машины, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью; ни на миг нельзя было отойти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над головой. Внизу машина кряхтела и стонала, как грузчик, без конца взбирающийся с углем по одной и той же лестнице; наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих на палубе. Поэтому, сунув чемодан в какую-то затхлую серую дыру, я поспешил назад на палубу и, поднимаясь из глубины, вдохнул полной грудью мягкий, сладостный воздух, доносившийся к нам с берега.

Но и на палубе для прогулок царили суетолака

и теснота: тут было полно людей, которые с нервностью, вызванной вынужденным бездействием, без умолку болтали и ходили взад и вперед. Щебетание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным проходам палубы, возбужденная болтовня пассажиров, скопавшихся перед стульями для отдыха, — все это почему-то причиняло мне боль. Я видел новый мир, впитывал сливающиеся, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воспроизвести в памяти то, что воспринял глаз, но здесь, на этом тесном бульваре, не было ни минуты покоя. Строчки в книге разбегались от мелькающих теней проходящих мимо людей. Невозможно было оставаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения паровой улице.

Я три дня боролся с этим чувством и присматривался к людям и к морю, но море было всегда одним и тем же, пустынным и синим, и только на закате оно вдруг загоралось всеми красками радуги; а людей я уже через трое суток знал наизусть. Все лица были мне знакомы до неприятности; резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные споры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство, но в каюте было жарко и душно, а в салоне английские мисс непрерывно

упражнялись на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырнул в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя парой стаканов пива; это давало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы.

Я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, жирный и влажный. Чувства были притуплены, и мне нужно было несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья шагов. Только машина, дышащее сердце Левиафана, кряхтя, толкала потрескивающее тело корабля вперед, в необозримое.

Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающими тросами, мои глаза озарил вдруг магический свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывавших его звезд, но все-таки оно сияло; казалось, что бархатный полог застилает какую-то светящуюся поверхность, а звезды — только отверстия и прорезы, через которые просвечивает этот неопикуемый блеск. Никогда не видел я небо таким, как в ту ночь, таким сияющим, таким

холодным, как сталь, и в то же время искрящимся, пенящимся, залитым светом, излучаемым луной и звездами, но горящим как будто в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете все очертания парохода, резко выделяясь на темном бархатном фоне неба; канаты, реи, все контуры растворились в этом струящемся блеске. Словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз наблюдательной корзинки — земные желтые звезды среди сверкающих небесных.

Над самой головой стояло таинственное созвездие Южный Крест, прибитый мерцающими бриллиантовыми гвоздями к Неведомому; казалось, что он колыхался, тогда как движение создавал только ход корабля, который, слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, гигантским поплавром подвигался вперед по темным волнам. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя, как в ванне, где сверху падает теплая вода, только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно и чисто и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, шипучий, опьяняющий воздух, напоенный дыханием плодов

и ароматом далеких островов. Теперь, теперь впервые с тех пор, как я поднялся по трапу, меня охватила священная радость мечтания и другая, более чувственная, заставлявшая меня, словно женщину, отдавать свое тело окружающей неге. Я хотел лечь и устремить взор вверх на белые иероглифы. Но палубные кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе для прогулок я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать.

Я начал пробираться ощупью вперед, подвигаясь к передней части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко белого звездного света, мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и отражения его от вещей — как смотрят на внешний мир из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался наконец до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплавленный лунный свет вскипает пеной с обеих сторон лезвия. Неустанно поднимался и опускался плуг в черную жидкую почву, и я чувствовал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искристой игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял

или несколько минут; качание чудовищной колыбели корабля унесло меня из пределов времени. Я чувствовал лишь, что мной овладевает усталость, похожая на сладострастие. Я хотел спать, грезить, но только не уходить от этих чар, не спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но в них все-таки проникал струившийся отовсюду серебристый свет. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху — неслышимый звон белого потока Вселенной. И мало-помалу это журчание наполнило мою кровь, я больше не признавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание, или биение далекого сердца корабля; я растекался, сливался в этом неугомном журчании с полуночным миром.

Тихий сухой кашель возле меня заставил меня вздрогнуть. Я сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись, — как раз против меня, в тени борта, сверкало что-то похожее на отблеск от очков; потом там вспыхнула большая круглая искра — несомненно, огонек трубки. Очевидно, сидя и любуясь пеной у носа корабля, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все это время. Невольно, не придя еще в себя, я произнес по-немецки:

— Простите!

— О, пожалуйста... — по-немецки же ответил голос из темноты.

Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого не было видно. Я чувствовал, что этот человек смотрит на меня так же напряженно, как и я на него; струящийся и мерцающий белый свет над нами был так силен, что каждый из нас видел только контур другого в тени. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку.

Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это казалось мне слишком грубым и внезапным. В смущении я вынул папиросу. Вспыхнула спичка, и огонек ее секунду дрожал в нашем тесном углу. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту — ни за обедом, ни во время прогулки; и не знаю, было ли больно моим глазам от внезапной вспышки, или то была галлюцинация, но это лицо показалось мне мрачным, искаженным ужасом, призрачным. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота поглотила опять освещенные на миг черты; я видел лишь очертание фигуры, темной на темном фоне, и минутами круглое огненное кольцо трубки среди пустого пространства. Никто из нас не говорил, и это молчание угнетало, как душный тропический

воздух.

Наконец я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — ответил из мрака хрипый, жесткий, словно заржавленный голос.

Я, спотыкаясь, побрел мимо такелажа и стоек. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был мой бывший сосед. Невольно я остановился. Он тоже остановился в нескольких шагах от меня, и я сквозь темноту ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.

— Простите, — поспешно заговорил он, — если я обращусь к вам с просьбой. Я... я... — он запнулся и от смущения не мог сразу продолжать, — я... у меня есть личные... чисто личные причины искать уединения... у меня траур... я избегаю общества пассажиров... Вас я не имею в виду... нет, нет... Я хотел только попросить вас... вы меня очень обязали бы, если бы никому на борту не говорили о том, что видели меня здесь... На это есть... так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях... да... так вот... мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью... что я...

Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же

обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул глухим, чрезвычайно тревожным сном, полным причудливых видений.

Я сдержал обещание и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морских путешествий всякая мелочь превращается в событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над волной дельфин, замеченный новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки в поисках его имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они отношения к нему; целый день я был во власти нервного нетерпения и ждал вечера, когда мог бы снова встретиться с незнакомцем. Загадочные психологические явления неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не могу успокоиться, пока мне не удастся разгадать скрытую в них тайну. Люди со странностями могут зажечь во мне жажду узнать их, которая немногим меньше жажды обладания женщиной. День казался мне длинным и пустым. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила меня разбудит.

И действительно, я проснулся в тот же час,

как и вчера. На покрытом фосфором циферблате часов обе стрелки перекрывали друг друга, в виде светящейся черты. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь.

Звезды сверкали, как вчера, и обливали рассеянным светом дрожавший паролод; в вышине горел Южный Крест. Все было как вчера — в тропиках дни и ночи еще более похожи на близнецов, чем в наших широтах, — только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, смущало, и я знал, куда меня влекло: туда, к черным лебедкам на носу; я хотел знать, не сидит ли там тот, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то сверкнуло, точно красный глаз, — его трубка. Значит, он сидит там.

Я невольно отступил на шаг и остановился. В следующий миг я ушел бы назад, но что-то зашевелилось в темноте, кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал прямо перед собой его голос, вежливый и тихий.

— Простите, — сказал он, — вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, и мне показалось, что вы решили уйти, когда увидели меня. Прошу вас,

садитесь, а я сейчас уйду.

Я, со своей стороны, поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел назад, чтобы ему не помешать.

— Мне вы не мешаете, — с какой-то горечью сказал он, — напротив, я рад не быть некоторое время один. Уже десять дней как я не сказал ни слова... собственно, даже несколько лет... и мне тяжело, я задыхаюсь, верно, оттого, что должен все глотать молча... я больше не могу сидеть в каюте, в этом... в этом гробу... Я больше не могу... и людей я тоже не переносу, потому что они целый день смеются... Я не могу это выносить теперь... я слышу это в своей каюте и затыкаю себе уши... правда, они ведь не знают, что... они и понятия не имеют... а потом, какое дело до этого чужим...

Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал:

— Но я не хочу стеснять вас... простите мою болтливость.

Он поклонился и хотел уйти. Но я настойчиво удерживал его:

— Вы несколько не стесняете меня. Я тоже рад обменяться здесь, в тиши, парой слов... Не хотите ли папиросу?

Он взял. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона; на этот раз оно

было прямо повернуто ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо, жадно и с какой-то безумной силой. Меня охватил трепет. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что я должен молчать, чтобы облегчить ему это.

Мы снова сели. У него был второй палубный стул, который он предложил мне. Мы курили, и по тому, как беспокойно прыгал в темноте огонек его папиросы, я видел, что его рука дрожала. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил:

— Вы очень устали?

— Нет, нисколько.

Голос во мраке снова на минуту замер.

— Мне хотелось спросить вас кое о чем... то есть я хотел бы вам кое-что сказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному, однако... я... я нахожусь в ужасном психическом состоянии... я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-нибудь поговорить... не то я погибну... Вы поймете меня, когда я... да, когда я вам расскажу... Я знаю, что вы не сможете помочь мне... но я прямо болен от этого молчания... а больной всегда смешон в глазах других...

Я прервал его и просил не терзаться напрасно и, не стесняясь, рассказать мне все... конечно, я не

мог ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то естественным образом рождается долг помочь.

— Долг... предложить свою помощь... долг сделать попытку... так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг... долг... предложить свою помощь...

Трижды повторил он эту фразу. Мне стало жутко от этой тупой, упорной манеры повторять слова. Не сумасшедший ли это человек? Не пьян ли он?

И, словно угадывая мою мысль, он изменившимся голосом произнес:

— Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного. Нет, этого нет — пока еще нет. Только сказанное вами слово странно поразило меня... поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит: лежит ли на нас долг... долг...

Он снова начал спотыкаться. Потом он замолк и начал с новым усилием:

— Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые... да, я бы сказал, предельные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг... долг ведь не один — перед ближним, есть еще долг перед самим собой, и перед государством, и перед наукой... Нужно помогать,

конечно, для этого мы и существуем... но такие правила хороши только в теории... До каких пределов нужно помогать?.. Вот вы чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели... хорошо, вы молчите, исполняете этот долг... Я прошу вас разговаривать со мной, потому что я прямо умираю от своего молчания... Вы готовы слушать меня... хорошо... Но это ведь легко... а что, если бы я попросил вас схватить меня и бросить за борт... тут уж кончается любезность, готовность помогать. Где-то она должна кончаться... там, где начинается наша собственная жизнь, наша собственная ответственность... где-то это должно кончаться... где-то должен прекращаться этот долг... или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то искупителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом, написанный латинскими буквами; неужели он действительно должен отбросить всякую личную жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какая-нибудь... когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь и доброты? Да, где-нибудь кончается долг... там, где человек больше не может, именно там...

Он снова приостановился и затем продолжал:
— Простите, я говорю с таким возбуждением,

но я не пьян... пока еще не пьян... впрочем, и это со мной теперь часто бывает, я спокойно признаюсь в этом вам, в этом дьявольском одиночестве... Подумайте: я семь лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных... тут можно отучиться от спокойной речи. Потом, как начнешь говорить, так всего сразу не перескажешь... Но, подождите... да, я уже знаю... я хотел вас спросить, хотел представить вам один случай... лежит ли на нас долг помочь... так, с ангельской чистотой помочь... Впрочем, я боюсь, что это будет длинная история. Вы в самом деле не устали?

— Да нет же, нисколько.

— Я... я очень признателен вам... не хотите ли?

Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую две, три, несколько бутылок, которые он поставил возле себя. Он предложил мне стакан виски, к которому я едва прикоснулся, в то время как он разом опрокинул свой.

На миг воцарилось молчание. Вдруг ударил колокол: половина первого.

— Итак... я хотел рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном... в маленьком городке... или, вернее, в деревне... врач, который...

врач, который...

Он снова запнулся. Потом вдруг, вместе с креслом, рванулся ко мне.

— Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все прямо, с самого начала, а то вы не поймете... Это нельзя изложить в виде примера, в виде теоретической возможности... я должен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки... передо мной ведь тоже люди раздеваются донага и показывают мне свои язвы и выделения... когда хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилять и стараться что-нибудь утаить... Итак, я не стану рассказывать вам про случай с неким воображаемым врачом... я раздеваюсь перед вами догола и говорю: я... стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедаёт душу у человека и высасывает у него мозг из костей.

Вероятно, я сделал какое-нибудь движение, так как он вдруг остановился.

— Ах, вы протестуете... понимаю: вы в восторге от Индии, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их, только катаясь по железной дороге, в автомобиле, на рикше: я сам это чувствовал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал: я хотел

овладеть языками и читать священные книги в подлиннике, хотел изучать болезни, работать для науки, ознакомиться с психикой туземцев; я был, как говорят на европейском жаргоне, миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но под невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы, лихорадка — от нее ведь не уйти, сколько ни есть хинина, — подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европейец невольно отстает от своего естественного образа жизни, если попадает из больших городов на этакую проклятую болотную станцию. Рано или поздно пристукнет всякого: одни запивают, другие курят опиум, третьи дерутся и звереют, — так или иначе, но тупеют все. Они стремятся в Европу, мечтают о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по улице, посидеть в светлой комнате среди белых людей, год за годом мечтают об этом, а когда настает срок, когда можно было бы получить отпуск, то им уже лень двинуться с места. Они знают, что всеми забыты, сознают, что они чужие, как морские ракушки, на которые всякий наступает ногой. И они остаются, завязшие в своих болотах, и погибают в этих жарких, сырых лесах. Пусть будет проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру...

Между прочим, это было не так уж вполне

добровольно. Я учился в Германии, сделался врачом, даже хорошим врачом, и работал при лейпцигской клинике. В одном из медицинских журналов того времени много писали по поводу нового впрыскивания, которое я первый ввел в практику. Тут подоспела история с одной бабенкой, которую я впервые увидел в больнице: она своего любовника довела до бешенства, и он ранил ее из револьвера; вскоре и я был таким же бешеным. У нее была манера держаться высокомерно и холодно — это и выводило меня из себя: властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я и совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я, — да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже восемь лет, — я из-за нее растратил госпитальные деньги, и, когда это выплыло наружу, скандал был ужасный. Правда, моему дяде удалось прикрыть мое преступление, но карьера погибла. В это время я услышал, что голландское правительство вербует врачей для работы в колонии и предлагает подъемные. Я сразу сообразил, что это, верно, отчаянное дело, раз за него предлагают деньги вперед; я знал, что могильные кресты на этих пораженных лихорадкой плантациях растут втрое быстрее, чем у нас; но когда человек молод, ему всегда кажется, что лихорадка и смерть постигнут кого угодно, но только не его. Ну что же, выбора у

меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая обобрала меня дочиста только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий уезжал я из Европы и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как вы сидите, как сидели все, и видел Южный Крест и пальмы, сердце таяло у меня в груди: ах, леса, одиночество, тишина! — мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию, или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а — впрочем, название не играет никакой роли — на одну из районных станций, в двух днях езды от ближайшего города. Два-три скучных иссохших чиновника, пара полубелых туземцев — это было все мое общество, а кроме него, вокруг только лес, плантации, пустыни и болота.

Вначале еще было сносно. Я занимался всякой всячиной; раз, когда вице-резидент упал во время инспекционной поездки из автомобиля и сломал себе ногу, я без всяких помощников сделал ему операцию, о которой много говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством

мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это продолжалось только до тех пор, пока во мне действовала привезенная из Европы сила; потом я завял. Мои европейцы наскучили мне, я прервал общение с ними,пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего два года, потом я освобождался с пенсией, мог вернуться в Европу, начать жизнь сначала. Я забросил все занятия и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она... если бы не случилось все это...

Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я сразу услышал опять звук воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленное глухое биение сердца машины. Мне хотелось закурить папиросу, но я боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лицо. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.

Вдруг прозвучал отрывистый сильный удар колокола: час. Он вострепнулся; и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука искала виски. Послышался тихий звук глотка, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз более напряженный и страстный.

— Да, так вот... подождите... да, так вот, это было так. Сижу я там, в своей проклятой дыре,

сичу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после дождей. Неделя за неделей барабанила вода по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я в доме со своими желтыми женщинами и своим добрым виски. Я был тогда как раз совсем «down»¹, совсем болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы, я не могу передать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь, яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине. Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтах о путешествиях. Вдруг раздался возбужденный стук в дверь, и я увидел боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают с важным видом: пришла дама, какая-то леди, белая женщина.

Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?

Я готов уже выбежать на лестницу, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит неприятное предчувствие, так как я не

¹ Упавший духом (англ.).

знаю никого на свете, кто из дружбы пришел бы ко мне. Наконец я иду вниз.

В передней ждет дама и поспешно направляется мне навстречу. Густая автомобильная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.

— Добрый день, доктор, — говорит она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы заранее заученной. — Простите, что я застаю вас врасплох. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там (почему она не подъехала к дому? — молнией блеснула у меня в голове мысль) — и вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога в безукоризненном состоянии, и он по-прежнему играет в гольф. О да, у нас там все говорят еще об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчуна военного доктора и обоих остальных в придачу, если бы вы приехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог...

И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и беспокойное чувствуется в этой скользкой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостью. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя, почему не

снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все больше волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней и позволяя изливаться на себя эту бесконечную болтовню. Наконец она на миг останавливается, и я могу пригласить ее наверх. Она делает бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.

— Как у вас мило, — говорит она, осматривая мою комнату. — О, какая прелесть: книги! Я хотела бы их все прочесть! — Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз, с тех пор как я вышел к ней, она на минуту умолкает.

— Разрешите мне предложить вам чаю? — спросил я.

Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать книжные корешки.

— Нет, спасибо, доктор... нам нужно сейчас же уходить... у меня мало времени... это была ведь просто маленькая прогулка... Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю... чудесная, удивительная вещь его «L'Education sentimentale»²... я вижу, вы читаете и по-французски... Чего только вы не знаете!.. Да, немцы, они проходят все в школе... Право, удивительно — знать столько языков!..

² «Воспитание чувств» (фр.).

Вице-резидент бредит вами и говорит всегда, что вы единственный хирург, к кому он пошел бы под нож... наш добряк доктор годится только для игры в бридж... кстати, знаете ли (она все еще говорит не оборачиваясь) — сегодня мне самой пришло в голову, что хорошо было бы разок посоветоваться с вами... и так как мы как раз проезжали мимо, то я подумала... ну вы сегодня, может быть, заняты... я лучше заеду в другой раз.

«Наконец-то ты раскрыла карты!» — сейчас же подумал я. Но я не дал ей ничего заметить и заверил ее, что почти за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.

— У меня ничего серьезного, — сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую ею с полки, — ничего серьезного, пустяки... женские неприятности, головокружение, обмороки. Сегодня утром во время езды, на повороте, мне вдруг стало дурно, *raide morte*³... бой должен был посадить меня и принести воды... ну, может быть, шофер слишком быстро ехал... как вы думаете, доктор?

— Не могу так об этом судить. У вас часто такие обмороки?

— Нет... то есть да... в последнее время...

³ Здесь: лишилась чувств (*фр.*).

именно в самое последнее время... да... обмороки и тошнота.

Она снова стоит уже перед книжным шкафом, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает... так нервно, почему не поднимает взора из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает в своей развязной и суетливой манере:

— Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь...

— Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс...

Я направляюсь к ней, но она уклоняется легким движением.

— Нет, нет, у меня нет жара... безусловно, безусловно нет... я измеряла температуру каждый день, с тех пор... с тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет, всегда ровно тридцать шесть и четыре. И желудок у меня в порядке.

Минуту я медлю. Во мне все растет недоверие: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую.

— Простите, — говорю я затем, — разрешите мне задать вам совершенно откровенно несколько

вопросов?

— Конечно, вы ведь врач! — отвечает она, но тут же поворачивается ко мне спиной и начинает возиться с книгами.

— У вас есть дети?

— Да, сын.

— А было ли у вас... было ли у вас раньше... я хочу сказать — тогда... было ли у вас подобное состояние?

— Да.

Ее голос стал теперь совсем другим — ясным, определенным, без всякой трескучести и нервности.

— А возможно ли, чтобы вы... простите мой вопрос... возможно ли, чтобы вы находились теперь в таком же состоянии?

— Да.

Резко и остро, как нож, бросила она это слово. Ничто не дрогнуло в ее лице.

— Будет лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас... вы разрешите попросить вас... перейти в другую комнату?

Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.

— Нет... в этом нет надобности... я вполне уверена в своем состоянии.

Голос на миг умолк. В темноте снова блеснул

наполненный стакан.

— Итак, слушайте... но сначала постарайтесь вдуматься немного во все это. К человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты... и вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Бессознательно ощутил я это: мной овладел трепет перед стальной решимостью этой женщины, вошедшей с беспечной болтовней, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший нож. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу, — это было не в первый раз, что женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была... о, тут была стальная, чисто мужская решимость... с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня... что она могла подчинить меня своей воле... Однако... однако... и во мне сидела какая-то злоба... гордость мужчины, обида, потому что... я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага.

Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо и вызывающе и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал так

легко. Я заговорил, но... уклончиво... невольно переняв ее болтливую, равнодушную манеру Я делал вид, что не понял ее, потому что — не знаю, можете ли вы почувствовать это, — я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот... хотел, чтобы меня просили... чтобы просила она, явившаяся с таким властным видом... и, кроме того, я знал, как легко я подчиняюсь власти таких высокомерных, холодных женщин.

Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки вполне в порядке нормального хода вещей, напротив, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из клинических журналов... я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и... все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.

И действительно, она резким движением руки прервала меня, словно отстраняя прочь все эти успокоительные разговоры.

— Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я родила своего мальчика, мое здоровье было в лучшем состоянии... но теперь я уже не all right⁴... у меня бывают сердечные припадки...

⁴ Вполне здорова (англ.).

— Вот как, сердечные припадки, — повторил я, изображая на лице беспокойство, — сейчас же посмотрим.

Я сделал вид, что встаю и достаю слуховую трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь остро и повелительно, как голос команды на плацу.

— У меня бывают припадки, доктор, и я должна просить вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования, вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие вам.

Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.

— Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я врач. И прежде всего снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.

Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо, такое, какое боялся увидеть, непроницаемое лицо, твердое, уверенное, полное не зависящей от возраста красоты, лицо с серыми английскими глазами, казалось, исполненными спокойствия, но скрывающими

внутренний огонь. Эти узкие сжатые губы умели хранить тайны. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной стальной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взор.

Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала:

— Знаете ли вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?

— Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния... хотите, чтобы я избавил вас от ваших обмороков и тошноты, устранив... устранив причину. В этом все дело?

— Да.

Как топор гильотины, упало это слово.

— А вы знаете, что подобные эксперименты опасны... для обеих сторон?..

— Да.

— Что закон запрещает их?

— Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.

— Это бывает только при наличии известных медицинских данных.

— Так вы найдете эти данные. Вы — врач.

Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, слабохарактерный, дрожал, пораженный демонической мощью ее воли.

Но я еще корчился, не хотел показать, что я уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», — мелькало во мне какое-то смутное желание.

— Это не всегда во власти врача. Но я готов... посоветоваться с коллегой в больнице...

— Не надо мне вашего коллеги... я пришла к вам.

— Позвольте узнать, почему именно ко мне?

Она холодно взглянула на меня.

— Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы... — она в первый раз запнулась, — вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если... если вы сможете увезти домой приличную сумму.

Меня так и обдало холодом. Эта сухая, купеческая ясность расчета ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже вычислила и сначала выследила меня, а потом начала травить.

Я чувствовал, как проникала в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.

— И эту приличную сумму вы... вы предоставили бы в мое распоряжение?

— За вашу помощь и немедленный отъезд.

— Вы знаете, что я, таким образом, теряю свою пенсию?

— Я возьму у вас ее.

— Вы говорите очень определенно... Но я хотел бы еще больше определенности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?

— Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.

Я задрожал... задрожал... от гнева и... и от восхищения. Все она рассчитала, и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду; она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной в предвидении своей власти. Я был бы рад дать ей пощечину... Но, когда я поднялся дрожа, — она тоже встала, — я посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела... овладела... какая-то жажда насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека, между нами сверкнула открытая вражда. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то... за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз говорили друг с другом вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, заползла мне в душу мысль, и я

сказал... сказал ей...

Но подождите, так вы неправильно поняли бы, что я сделал... что сказал... мне нужно сначала объяснить вам, как... как зародилась во мне эта безумная мысль...

Опять тихонько звякнул в темноте стакан. И голос сделался более возбужденным.

— Не думайте, что я хочу извиняться, оправдываться, обелить себя... Но вы без этого не поймете... Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком... но, кажется, помогал я всегда охотно... это была ведь единственная радость в моей собачьей жизни, когда я, пользуясь крупицей знаний, уцелевших у меня в голове, спасал какую-нибудь тлеющую искорку жизни... я чувствовал себя тогда маленьким богом... Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, со змеиным укусом на вспухшей ноге, заранее выл, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я проводил долгие часы в пути, чтобы посетить лежащую в лихорадке женщину; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница, — еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому

помогающему, это сознание, что ты нужен другому.

Но эта женщина — не знаю, могу ли объяснить вам это — волновала, раздражала меня с той минуты, когда вошла в мой дом, словно мимоходом, вызывала своим высокомерием сопротивление, будила во мне все... как бы это сказать... будила все подавленное, все скрытое, все низменное. Меня сводило с ума то, что она разыгрывала леди и с холодной неприступностью предлагала мне сделку, когда речь шла о жизни и смерти. И затем... затем, в конце концов, от игры в гольф не становятся ведь беременными... я знал... то есть я должен был вдруг с ужасающей ясностью представить себе... это и была та мысль... с ужасающей ясностью представить себе, что эта спокойная, эта надменная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда я, только для протеста... да, почти негодуяюще взглянул на нее, что она два или три месяца назад, разгоряченная, лежала в постели с мужчиной, голая, как зверь, и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впились друг в друга, как их губы... Вот это, вот это и была обжигавшая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой неприступной холодностью, словно английский офицер... и тогда, тогда все напрягалось во мне... и я обезумел от мысли унижить ее... с этого мгновения я видел

сквозь платье ее голое тело... с этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в порыве сладострастия, как тот, другой, которого я не знал. Это... это я и хотел вам объяснить... Как я ни опустился, я, как врач, никогда не пытался злоупотреблять своим положением... но на этот раз это ведь не была похоть, в этом не было ничего сексуального, я говорю правду... я ведь не стал бы отпираться... только страстное желание победить ее гордость... стать ее господином, как мужчина... Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, холодные на вид женщины всегда имели надо мной особую власть... но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не имел белой женщины, что я не знал сопротивления... Здешние девушки, эти щебечущие изящные зверьки, дрожат ведь от благоговения, когда их берет белый человек, «господин»... они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы отдаться со своим тихим гортанным смехом... но именно эта покорность, эта рабская угодливость и отравляет все наслаждение... Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, застегнутой на все пуговицы и в то же время дразнившей своей тайной и отягченной

недавней страстью... когда подобная женщина дерзко входит в клетку такого мужчины, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полуживера... Это... вот это я хотел вам только сказать, чтобы вы поняли все остальное... поняли то, что теперь произошло. Итак... полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я словно сжался весь в комок и напустил на себя равнодушный вид. Я холодно произнес:

— Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, это меня не удовлетворяет.

Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Но все же она сказала:

— Сколько же вы хотите?

Я больше не желал говорить спокойным тоном.

— Будем играть в открытую. Я не делец... не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за презренное золото... я представляю собой, скорее, противоположность делового человека... этим путем вам не удастся достигнуть желаемого.

— Так вы не хотите это сделать?

— За деньги — нет.

На миг воцарилась тишина. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание.

— Чего же вы еще можете хотеть?

Теперь я больше не владел собой.

— Во-первых, я хочу, чтобы вы... чтобы вы обращались ко мне не как к торговцу, а как к человеку. Чтобы вы, если вам нужна помощь, не... совали сейчас ваши гнусные деньги... а попросили... попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку... я не только врач, у меня не только приемные часы... у меня бывают и другие часы... может быть, вы пришли бы в такой час...

Она минуту молчит. Потом ее рот слегка кривится, дрожит и быстро произносит:

— Значит, если бы я вас попросила... тогда вы сделали бы это?

— Вот вы уже опять хотите заключить со мной сделку, вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю. Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.

Она высоко вскидывает голову, как горячая лошадь; с гневом смотрит она на меня.

— Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть.

Тут мною овладевает гнев, красный, безумный гнев.

— Тогда я требую, если вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее, — вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда, тогда я вам помогу.

На миг она остолбенела. Потом, — о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, — потом ее черты нахмурились, и потом... потом она вдруг расхохоталась... с нескрываемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо... с презрением, которое уничтожило меня... и в то же время еще больше опьянило... Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный... такая чудовищная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я... да, я готов был упасть на колени и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение... словно молния; у меня был огонь во всем теле... вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.

Я невольно хотел пойти за ней... просить прощения... умолять ее... моя сила была ведь совсем сломлена... но она еще раз обернулась и сказала... и это звучало как приказ:

— Не смейте идти за мной или наводить справки... Вам пришлось бы раскаяться.

В тот же миг за ней захлопнулась дверь.

Снова пауза. Снова молчание... Снова неумолчное журчание, словно от струящегося лунного света. И наконец опять его голос:

— Хлопнула дверь... но я стоял, не двигаясь с места... я был словно загипнотизирован ее приказом... я слышал, как она спускалась по

лестнице, как закрылась входная дверь... я слышал все, и вся моя воля устремилась ей вслед... чтобы ей... я не знаю, что... чтобы позвать ее назад, или ударить, или задушить... но только за ней... за ней... Но что-то удерживало меня. Мои ноги были словно парализованы электрическим ударом... я был поражен, поражен в самую душу убийственной молнией ее взора... Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать... это может показаться смешным, но я все стоял и стоял... прошло несколько минут, может быть, пять, может быть, десять, прежде чем я мог оторвать ногу от земли...

Но как только я ступил ногой, я уже снова весь горел и готов был бежать... вмиг слетел я с лестницы... Она могла ведь пойти только по улице, ведущей к станции. Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы. И вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку... я должен... я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль... я должен поговорить с ней...

Я мчусь, оставляя за собой облака пыли... теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении... там... на повороте в лесу, перед самой станцией я вижу ее, идущую торопливым твердым шагом, в сопровождении боя... Но и она, несомненно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет